

Это было давно и неправда —
хоть убей, времена переверну —
кучерявилась речка Непрядва
на вечернем восточном ветру.

Облака, охранявшие небо,
воскресали на илистом дне,
дабы числиться зрела потреба
с убиенными в кровной родне.

Эта экскурсионная осень
приключилась затем, что уже
пафос ярого лета несносен
был на том чумовом рубеже.

Мы с тобою как в сказке стояли,
точно жизнь защищали свою,
на нечаянной речке Каяле —
у обрыва на самом краю.

Эти травы, и воды, и дали
отдаляли от времени Ч.
Это после безродно рыдали
у почившей любви на плече.

И грядущей разборке переча,
в зазеркалье того сентября
пламенела Красивая Меча
и прекрасная меркла заря.

И дурной на поверку историк,
все угарный не выдохну яд...
Дым Отечества сладок и горек,
если прежние реки горят.

* * *

Там ангел смотрит вниз
из верхнего окна
и молча на карниз
ложится седина.

Со дна забвенья снег
до выстуженных туч,
равняя смех и грех,
возносится, летуч.

Молчанье на крови
дерев, ушедших в сон,
по праву визави,
что тих и невесом.

Час от часу верней
подъемник снеговой
уносит дрожь корней
в пургу над головой.

Пурга и под, и над, —
а лед быльем согрет.
Есть ангельский талант
в куренье сигарет.

Курящий, наг и нем,
торчит в окне по грудь.
На дне его проблем
все то, что не вернуть.

Но даром жжет белки
заснеженная глушь —
каракули легки
на глади мерзлых луж.

Там пишется, что нет
значений у времен,
покуда этот свет
в иной не претворен.

Шум в Первомайском драного шапито
перекрывает ропот широких крон.
Пуля за пулей идет в молоко, в ничто,
шатким животным не нанося урон.

Пенятся листья как пиво окрест ларька,
лезут по форточкам ближних к нему квартир.
Жизнь студиозуса, как ни крути, горька —
разве что цирк, шалманчик да старый тир.

Сад оголтелых, но колдовских причуд,
майских претензий выдюжить диамат —
там лишь хвостисту истому по плечу
определить, в чем соль и кто виноват.

Впрочем, ему и прочее нипочем —
все веселуха перцу, все «до» и «по» —
даром, что предки поедом — стань врачом.
Или завидней гайки крутить в депо?

Чопорный Гегель, яростный Фейербах
машут Асклепию из-за своих словес,
чтобы гороховый нежился на бобах
шут с чумовой воздушкой наперевес.

Чтобы кабан по проволоке скользил,
чтобы коверный пьяную тер слезу,
чтоб и впустую не убывало сил
вышнему шуму радоваться внизу.

Февраля невеликий объем
обречен, точно мартовский снег.
Поскользнешься в апреле на нем —
вот и май не наступит вовек.

Лишь июньская сонная мга
да разбавленный тьмою июнь.
До успения — вся недолга,
только мякоть сентябрьскую сплунь.

Вот и наледь любви в октябре,
полудетский ноябрьский кумач.
О безбашенной снежной поре
на Крещение по пьяни поплачь.

Ведь ему все «ля-ля, тополя»,
кто вращает круги наобум...
И останется без февраля
старый путаник и тугодум.

Такое поднимается со дна,
что рушится дыхание плавчихи,
а яростные фырканы и чихи —
с того, что бултыхается одна.

Хотя и берег вроде недалек —
и мягкий пламень в окнах над пригорком,
и благодать в полусумраке прогорклом —
а донный ил залетную увлек.

Но нахлебаться досыта — ни-ни —
и пусть смешон запас плавучей злости,
смешней остаться в илистой коросте —
береговые — вот они — огни.

* * *

Воздух предместья его сгубил,
черная рябь реки.
Месяц румянится из глубин,
разуму вопреки.

Нравится дурику странный час
перед сплошной тьмой.
Он забавляется всякий раз
и не шустрит домой.

Где-то у пристани заторчит
в сонме своих пророх —
точно кто сверху, многоочит,
высветлит все вокруг.

Звездные водоросли стоят
над головой глупца.
Позднего лета плавучий яд
зыблет черты лица.

И на глазном серебрятся дне
блики с другого дна,
где различимая не вполне
кровь тишины видна.

Стебли светил на ее пути
местный пронзают ил —
точно пловец различил почти,
что за душой хранил.